

Цель статьи Э.Г. Александренкова, как он сам указывает, – “разобраться в том, что понималось в прошлом и понимается сейчас под теорией в нашей науке”. Вообще в науке под теорией понимается то, что практикой не является, но практикой проверяется. Из многих приводимых определений наиболее практично энциклопедическое – “система достоверного знания, которая описывает, объясняет и предсказывает функционирование фрагмента действительности”. Слово “достоверное” тут излишне – долго существовала флогистонная теория горения, которая описывала, объясняла и предсказывала, но оказалась недостоверной, как и геоцентрическая система Птолемея, и теория катастроф Кювье. Кроме того, можно считать этнографию и этнологию полными синонимами, а можно считать, что этнография *описывает* этносы и их культуры, а этнология *объясняет* и *предсказывает* их функционирование; тогда этнология есть теория этнографии, а этнография есть наблюдение практики,веряющей эту теорию. То и другое направление существует и в отечественной, и в мировой науке уже более двух веков. И в этом плане противопоставление России и Запада бессмысленно, хотя, может быть, и не лишено смысла сопоставление разных локальных или “национальных” школ этнологической теории – американской, российской, британской, французской, индийской, японской и т.д. Но последнее (т.е. сопоставление) интересно и имеет смысл главным образом в плане “этнографии этнографической науки”, т.е. как фиксация того, чем отличаются разные этнические или “национальные” подходы к задаче изучения этносов<sup>1</sup>. На этой базе возможно даже построение “этнологии этнологии”. Можно, впрочем, и марки за казенный счет собирать.

Вообще, многое можно делать, однако не все нужно. И наверное, менее всего нужно становиться на пьедестал то ли западнического, то ли славянофильского высокомерия и рассуждать о том, что, дескать, Россия всегда была сильна теорией (а также духовностью, соборностью, сермяжностью и домотканностью) и тем отличалась от ползуче-эмпирического (бездуховного, прагматического, потребительского убогого) Запада; или же, наоборот, именно на Западе сосредоточены были все свершения теоретического полета мысли, а российская наука всегда была насквозь эмпирична, эклектична, лишена широких и глубоких обобщений и никакой похвалы не заслужила. Несерьезно все это, однако. Некруто, как скажут молодые люди. Пройденный этап. Что есть теория в этнографии, вопрос не столь уж важный. Все ответы на него будут иметь некоторый общий смысл, но различаться в деталях. Один ответ будет уже, другой шире, в зависимости от того, *какая* теория. Вот в этом-то и есть вопрос.

И эмпирически-дескриптивная (описательная), и теоретически-экспликативная (объяснительная) сторона с необходимостью присутствует в любой науке, в том числе и в этнографии (социальной или культурной антропологии), в любой ее национальной, региональной, или даже надрегиональной, но возглавленной харизматическим лидером-основателем школе, пусть в несколько разной мере и разных пропорциях. Действительность, описываемая этнографией, столь всеохватывающа и обширна, что вряд ли можно ожидать появления общей теории этнографии, как нет и общей теории физики или биологии, но есть теории, связанные с определенными фрагментами или сегментами действительности, пусть и выделяемыми условно и даже доволь-

но субъективно. Я не буду перечислять авторов, подвизающихся в теоретическом осмыслении таких больших или малых фрагментов; на самом деле таких авторов столь много, что всегда боишься забыть упомянуть кого-либо из весьма заслуженных своих коллег. Наверное, не удастся полностью перечислить и сами фрагменты. Но любой читающий этнограф без труда назовет имена людей, внесших свой вклад в теоретическое осмысление подобных фрагментов. В первую очередь назовем, конечно, теорию этноса. Затем тесно связанную с ней теорию этногенеза. Та и другая отрасли в последнее время (несомненно, временно) освещаются в публикациях реже, чем раньше, отчасти потому, что в дискуссиях уже было сказано очень многое и сказанное надо переварить. Впрочем, даже тот, кто считает нужным петь отходную (сиречь реквием) по этносу, тем самым уже вносит немалый вклад в изучение его теории.

Далее следует теория общины (особенно заметен здесь вклад востоковедов, прежде всего индологов), теория систем и терминов родства (здесь потрудились многие, и опять же более других выдающиеся отечественные китаисты и африканисты), теория первобытного общества (ее много лет разрабатывал целый отдел института), теория практик измененного сознания (шаманизма, оккультизма, ведовства на сибирском, среднеазиатском, восточноевропейском, кавказском и прочем материале), теория религиоведения (более всего это социология религии), теория мифа (материал австрало-океанийский, американский, сибирский и другой) и других разделов этнографии.

Даже в области материальной культуры, по определению более других тяготеющей к преобладанию описательного подхода, есть теоретические обобщения в плане типологии и истории эволюции жилища и пищи; история костюма, правда, существенно отстает – классическим трудам П.Г. Богатырева уже более полувека, а сопоставимых новых не появилось<sup>2</sup>. Но большой теоретический заряд несет ряд новых трудов по орнаментике одежды и тканей<sup>3</sup>.

С 1930-х по 1980-е годы этнография, как и все обществоведческие науки, была загнана в прокрустовы рамки “единственно верной марксистско-ленинской теории”, т.е. вульгаризованного псевдомарксизма. Однако этот факт отразился на успехах российской этнографии менее болезненно, чем, скажем, на гражданской истории. Реально, если, разумеется, не впадать в политизированную “антисоветчину”, можно было использовать и функциональную, и структуралистскую, и семиотическую методологию, слегка маскируя швы кусочками декларативно-декоративной “марксистско-ленинской” замазки.

Приставленные от ЦК КПСС к науке блюстители идеологической чистоты, типа С.П. Трапезникова, П.Н. Федосеева или Б.Н. Пономарева, большой начитанностью в этнологической проблематике не отличались, а потому в основном реагировали лишь на характерные для того или иного периода ключевые “чуждые слова”, которые приходилось заменять новоязовыми эвфемизмами или снабжать апологическими пояснениями.

Помню, как в целом весьма либеральный и прогрессивно мыслящий Ю.В. Бромлей довольно жестко давил на меня, требуя убрать из какого-то текста слово “аккультурация”, утверждая, что Трапезников где-то назвал этот термин “чуждым” и “буржуазным”. Притом никакого внесения коррекций в описание и анализ самого упоминавшегося фактического процесса Юлиан Владимирович от меня не требовал. Помню также, что при публикации моей первой книги “Современный быт японцев” довольно сложной задачей оказалось “пропихивание” через редакторские рогатки словосочетания и понятия “средний класс”, что на этот раз отчасти сказалося и на информативной и аналитической полноте текста.

Что касается общей культурологической теории, или “теории культуры”, в рамках которой разрабатывались теоретические вопросы отдельных сегментов этнографии, то на этом поле трудилось довольно большое число теоретиков культуры, создавших корпус достаточно значительных работ. Впрочем, не все мои коллеги-этнологи согласились бы, наверное, с такой оценкой. В то время как, скажем, Д.А. Ольдерогге оценивал значение многих работ по теоретической культурологии достаточно высоко, Ю.И. Семенов относился если не ко всем, то к большинству из них как к пустой болтовне, а С.А. Токарев даже активно старался (правда, безуспешно) воспрепятствовать представлению на VII МКАЭН в Москве докладов теоретико-культурологического направления. Впрочем, и к семиотическому, и к структуралистскому направлениям в этнографии Сергей Александрович относился тоже весьма скептически.

Боюсь, правда, что изложенные выше мои воспоминания трудно подкрепить документально. Они основываются прежде всего на личных беседах, отчасти на не зафиксированных письменно устных выступлениях наших старших коллег на разных семинарах и обсуждениях.

Из этих обсуждений мне более многих других запомнилось секционное заседание по неозволюционизму в рамках X МКАЭН в Дели 15 декабря 1978 г. Основная дискуссия развернулась между Э.С. Маркаряном и мной, с одной стороны, и Д. Шимкиным и Марвином Харрисом, с другой, и касалась различий между марксистским (в серьезном смысле слова) историческим материализмом и харрисовским “культурным материализмом”. Ю.В. Бромлей, присутствовавший на заседании, остался ей очень доволен. Не сомневаюсь, что с присущим ему аппаратным мастерством он достойным образом представил впоследствии в соответствующих инстанциях это заседание как победоносный бой, данный советскими учеными представителям западной буржуазной идеологии. На самом деле дискуссия проходила весьма корректно и миролюбиво. Подход Харриса подвергался критике главным образом за прямолинейность понимания эволюционного развития, за недооценку качественных скачков в результате накопления количественных изменений. После заседания мы еще довольно долго прогуливались с Харрисом по соседнему парку и пришли к выводу, что наши разногласия касаются прежде всего частных и не носят принципиального характера.

Если мы проанализируем базисные позиции, на которых стоит большинство отечественных авторов, затрагивающих вопросы теории этнологии или хоть как-то ссылающихся на эти вопросы в своих этнографических трудах, то чаще всего, при наличии функциональных, семиотических, структуралистских и иных подходов, увидим в той или иной форме доминирование постулатов неозволюционизма, иногда окрашенного марксистскими обертонами, иногда нет. И если мы посмотрим, каких американских авторов чаще всего и наиболее сочувственно цитируют наши отечественные коллеги, то обнаружим неизменно все то же преобладание ученых, так или иначе близких к неозволюционизму. Это будут М. Салинс, Э. Сервис, Л. Уайт и ряд других. Релятивистские и антиэволюционистские установки, связанные с именами Р. Бенедикт, М. Мид, А. Крёбера, М. Херсковица и других ученых, получали гораздо менее сочувственный отклик.

Мне кажется, дело в том, что релятивизм, агностицизм, весь комплекс постмодернизма гораздо более терпимо и сочувственно относится к проблеме нечеткости проведения границы между знанием и верой, объективизмом и субъективизмом, нежели эволюционизм (включая сюда неозволюционизм). Последний весьма жестко противопоставляет веру и знание. Недаром на плакатах западных обскурантистов-фундаменталистов в списках проклятых супостатов веры и морали эволюционисты располагаются где-то посередине между сатанистами и скотоложцами, тогда как

представители иных историко-философских школ подобному анафематствованию не подвергаются. В расколотом по всем параметрам на антагонистические половины российском обществе тяготение рационалистически мыслящей части к эволюционизму понятно. Более того, в условиях, когда все, что не эволюционистично, попадает в корзину постмодернизма, естественным образом все, что не есть постмодернизм, примыкает к эволюционизму.

Отвергнуть или опровергнуть эволюционный принцип в обществоведческих исследованиях вряд ли кому-нибудь когда-нибудь удастся, как не удастся опровергнуть принципы биологической эволюции в дарвинизме или принципы ньютоновской механики. Другое дело, что для всех этих теоретических концепций может быть показана (и уже показана) их относительность, ограниченность в рамках определенной амплитуды переменных, непригодность для более широкого набора условий, выходящего за рамки данной амплитуды. Линейная эволюция и доминанта уровня развития технологии до сих пор были частью аксиоматики эволюционистского подхода в теории этнологии, независимо от того, хотели ли мы в этом признаваться или нет. Сейчас становится ясно, что то и другое – лишь частный случай в более широком спектре вариантов мультифакторного, синергетического развития. В современной этнологии попыток приложения синергетического подхода к теоретическому анализу отдельных полей этнографического знания пока не просматривается. Однако можно не сомневаться, что такие попытки в будущем появятся.

Хотелось бы только предостеречь потенциальных авторов от сочинения теорий на базе старого, из вторых рук полученного материала. Случаи, подобные успешному кабинетному анализу А.Н. Максимовым старого австралийского материала, – скорее исключение, чем правило. Спешить с этим не надо. Практика показывает, что самая хорошая теория получается тогда, когда автору удастся открыть, раскопать нечто значимое и существенно новое в части этнографических фактов, настолько интересных, что простое описание их уже было бы ценным вкладом в науку, но автор не ограничивается описанием в рамках принятых клише, а ищет и находит для новых фактов не только новые приемы описания, но и новые подходы анализа и истолкования.

### *Примечания*

<sup>1</sup> См., напр., сборник (результат симпозиума): *Othernesses of Japan: Historical and Cultural Influences on Japanese Studies in Ten Countries* / Eds. H. Befu, J. Kreiner. München, 1992.

<sup>2</sup> *Богатырев П.Г.* Вопросы теории народного искусства. М., 1971.

<sup>3</sup> См. недавние публикации С. Рыжаковой, И. Денисовой и др.

## **S.A. Arutiunov. One Theory Is Good, but Two Is Better**

Commenting on E.G. Alexandrenkov's essay, "What Is a Theory in Russian Ethnography?", the author joins the first commenter in the opinion that a general theory of ethnography may not be reached, while in ethnography, as in any discipline, there are particular theories related to particular fragments of reality.